

Николай Лесков

Воспоминания о Николае Лескове

Содержание

АХМАТОВА Е. Н. МОЕ ЗНАКОМСТВО С Н. С. ЛЕСКОВЫМ И ЕГО ПИСЬМА КО МНЕ (Отрывок из воспоминаний восьмидесятилетней женщины)	0004
ВАРНЕКЕ Б. В. ДВЕ ВСТРЕЧИ С Н. С. ЛЕСКОВЫМ . . . 0032	
БОРХСЕНИУС Е. И МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ СЕМЕНОВИЧЕ ЛЕСКОВЕ	0040
ЛЕЙКИН Н. А.	0064
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ	0071

ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ ЛЕСКОВЕ

**АХМАТОВА Е. Н.[1]
МОЕ ЗНАКОМСТВО С Н. С.
ЛЕСКОВЫМ И ЕГО ПИСЬМА
КО МНЕ
(Отрывок из воспоминаний
восьмидесятилетней
женщины)**

О Николае Семеновиче Лескове после его смерти писали и в газетах и журналах, у него есть, как это всегда бывает, и почитатели, и порицатели, и, как также всегда бывает, те и другие могут быть правы с своей точки зрения. Хотя мои Воспоминания — не критическая статья и не биография и касаются Н. С. не как писателя, а как человека, мне кажется, что его письма могут служить дополнением к тому, что о нем было и будет писано, так как в этих письмах виден весь своеобразный талант и слог писателя.

Мне кажется также, что восьмидесятилетний возраст дает право женщине, уже отжившей свой век, говорить свободно о себе в пе-

чати — старость имеет свои привилегии, — и я, не опасаясь обвинения в тщеславии, не считаю себя вправе не огласить переписки, в которой, так же как и в отношениях Н. С. ко мне, ярко отразились его душевные качества, его воззрения и его нравственное настроение в последние годы его жизни.

Я познакомилась с Н. С. Лесковым в 1881 г. Я задумала тогда к двадцатипятилетию моего журнала «Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык» издать в подарок моим подписчикам юбилейную книжку со статьями русских авторов и просила у Н. С. для этой книжки небольшой рассказ. Я обратилась к Н. С. письменно — тогда я не знала его лично. Вместо письменного ответа он приехал ко мне сам, и начало моего знакомства с ним запечатлелось неизгладимыми чертами в моей памяти.

В то самое время, как приготавливалась к печати юбилейная книжка моего журнала, я «отдала безвременной могиле единственную опору моей старости» (выражение Н. С. Лескова в его Заметке в «Историческом вестнике», апрель 1885).[2] Н. С. так сочувственно отнес-

ся к моему горю, выказал мне такое горячее участие, какого я не имела права ожидать от человека, совершенно постороннего и с которым до тех пор я не имела никаких сношений. Это участие не изменилось до самой смерти Н. С., что делает большую честь его доброму сердцу и его терпеливости, потому что мое нравственное состояние в то время делало меня не слишком приятной собеседницей. Хотя я видала Н. С. не часто, его посещения и его письма были для меня отрадны в моей тогдашней жизни как доказательства его неизменного расположения ко мне, несмотря на то, что наши воззрения были совсем несходны. Без малейшего раздражения выносил он мрачное состояние моего духа, и хотя мое негодование «на порядок мира сего» не могло производить на него приятное впечатление, так как не согласовалось с его мнением, он не выказывал малейшей нетерпимости, сожалел о моем, как ему казалось, ошибочном взгляде, а не сердился на мои раздражительные возражения.

Первое письмо Н. С. было ответом на мое, в котором я выговаривала ему, что он не уве-

домляет меня об обещанной мне статье.

3 мая 1881 Спб

«Милостивая Государыня Елизавета Николаевна!

Вы действительно правы, гневаясь на меня за медлительность моего ответа на предпоследнее Ваше письмо. В этом я виноват и прошу Вашего снисхождения к моим очень большим недугам (недосугам — черн. рукопись), но в том, что касается обязательства вспомнить о заглавии статьи, Вам „обещанной“, я не признаю себя виноватым. Мне это известно только так, что когда я был у Вас для выражения моей благодарности за оказанную мне честь, я извинялся, что положительно ничего обещать не могу и что когда Вам было угодно поставить в Объявлениях мое имя, я против этого не возражал и не возражаю. Помню, что я не отрицал Вашего права рассчитывать на меня, что я, может быть, что-нибудь сделаю, но это никогда не выражало собою положительного обещания, за которое Вы теперь негодуете на меня. Это, конечно, недоразумение, в котором я не вино-

ват, из которого, однако, я хотел выйти так, чтобы успокоить Вас. Я начал ставить себя в такое положение, как будто я в самом деле что-то положительно обещал и думал, и думаю что бы такое для Вас приготовить, но до сих пор себе этого еще не решил. Может быть, это будет маленький исторический очерк, а может быть, рассказ в 2–2,5 листа. В последнем случае это будет называться Фараон. Но я Вас покорнейше прошу обождать до половины июня, когда я уеду в Малороссию и оттуда положительно напишу Вам заглавие и срок, к которому буду в состоянии дать Вам мою работу. Думаю, что это можно считать на последние дни августа, к которым я обыкновенно возвращаюсь в город. Но Вам это так рано и не нужно. Если я Вам напишу, что рассказ будет, то Вы можете быть спокойны, что я Вас не введу ни в какие неустойки.

Прошу Вас простить мне мою медлительность в ответе и принять уверение в отличном к Вам уважении.

Николай Лесков.

P. S. Если рассказ будет — Фараон — то это, пожалуй, шуточная и немножко сатириче-

ская штучка по поводу современной истории с евреями, которую я как киевлянин знаю близко и понимаю, а по убеждениям моим не принадлежу к иудофобам, я едва ли не вернее других знаю, кто нынешний Фараон, он даже не социалист».

Но для моей юбилейной книжки он дал не Фараона, а «Леон, дворецкий сын» (Не совсем была довольна этой переменою, я не любила тех рассказов Н. С., написанных вычурным языком. Я предпочла бы нечто вроде Леди Макбет нашего уезда — повесть по силе таланта, простоте рассказа, на мой взгляд, принадлежащую к лучшим рассказам Лескова — черн. рукопись.)

При личном моем объяснении с Н. С., мы решили, что оба не правы. Он согласился с моими доводами, что если дал мне позволение поставить его имя в Объявлениях, я могла считать это положительным обещанием дать мне статью, а я согласилась с ним, что не имела права требовать заранее заглавия статьи.

Второе письмо Н. С. было написано в ответ

на мое письменное извинение и сожаление, что я слишком горячо и раздражительно отстаивала свои мнения в личной беседе с ним о «высоких предметах».

«2 августа 82 Спб Сергиевская № 56, кв. 14.
Уважаемая Елизавета Николаевна!

Я Вам от всей души благодарен за Ваше письмо. Это листок из тех, которые всегда хочется сберечь, и человека, который сумеет это написать, не полюбить невозможно. Очень ценю эту ласку, свидетельствующую мне о тонкости Вашего ума и независимости чувства. Приязнь такой женщины, как Вы, есть дар очень большой и мною не заслуженный. Я объясняю это Вашим горем и прилагаю к настоящему случаю басню о „лани и волчонке“. Что я не был у Вас — это отнюдь не выражает, что я не хотел быть или чего-то боялся. Я давно привык уважать всякие убеждения, лишь бы они были искренни, убеждения же позитивистские мне не только не противны, но даже очень сочувственны. Но они не отстраняют религии, а только вводят ее в настоящие пределы. Безумно и нагло „комментиро-

вать Бога“, но вполне умно и благочестиво воспитывать дух свой в покорности судьбам, которых отрицать нельзя, „потому что они сами тебя отрицают“.

Ваши философствования меня нимало не смущают. Я знаю, что вся религия лежит в слове „любовь“. „Бог любви есть“, а что с нами делается, то вне нашей власти и вне понимания.

Молитва имеет свой смысл, и моя молитва сродни с молитвою Базарова отца „не дай мне возроптать“, вся гармония силы духовной состоит только в покорности. Это как-то божественно красиво и величественно, а раздражение и ропот несут только одну сумятицу. Однако, когда очень больно — каждому свойственно шуметь, кричать, вопить и даже драться. Вам же очень больно, — рана нанесена в самое сердце и притом в тягчайшую пору для перенесения утраты. Кричите — это Ваше право, но ясный ум Ваш, так мужественно борющийся с жизнью, увлечет Вас к чему-либо более гармоническому (гармоничному — черн. рукопись). Это надо, это так и будет. Обедать к Вам дозвоьте мне прийти в среду

(4 августа), я никуда не уезжаю и сижу дома да скучаю. В первый раз чувствую, что ехать некуда — никуда и не манит. Уезжал на десять дней и то едва выдержал от неодолимой глупости и тупости, которыми сплошь скована жизнь в провинции.

Душевно преданный Вам
Николай Лесков».

Надежды Н. С. на изменение моих воззрений (взглядов — черн. рукопись) не сбылись, он продолжал убеждать меня не раздражаться на «порядок мира сего», а я продолжала не соглашаться относительно «гармонии и величественности покорности судьбам», а, напротив, видела в этом душевную слабость и желание успокоить себя чем бы то ни было. Конечно, Н. С. был прав в том отношении, что переносить без ропота и негодования то, чего не в наших силах избежать, легче и спокойнее, чем раздражаться, но он не принимал в соображение, что то и другое — вопрос характера и воззрения.

Года два спустя я нашла в Н. С. некоторую перемену, он жаловался на лень, тоску, ду-

шевные муки, а когда однажды разговор коснулся его «Запечатленного ангела», он сказал, что если бы писать его теперь, то кончил бы иначе.

В 1886 г. он обещал привезти мне статью, не попавшую в печать, но долго сам не приезжал и обещанной статьи не присылал. Я напомнила ему об этом, он ответил мне:

«3 Генв. 86 Спб

Достойнейшая Елизавета Николаевна!

Я знаю, что при сердечной горячности и умственной светлости Вы не свободны от гневности, и потому должен бы не вводить Вас во искушение, а меж тем как раз и сделал это. В том моя вина и в том кладу перед Вами мою повинную голову. Ни письмо Ваше не пропало, ни я не обнаружил невежливости к просьбе Вашей, а произошло (еще — черн. рукопись) нечто иное. Ранее всех приехал К., взял единственный оттиск сочиненной статьи и как повез его возить, так до сих пор и (все — черн. рукопись) возит... А я всё ждал, что вот-вот получу и тогда Вам пошлю... А тут скука, от которой руки от всего падают, а при

том недосуги и т. п. гадость и мелочность (мелочь — черн. рукопись) житейская. Право, меня простить можно. И куда это Вы заехали, „на край света“? (Я жила тогда не на Михайловской площади, где познакомилась с Н. С., а на Васильевском острове.) Какие там выгоды? Господи, помилуй нас грешных!

Ваш Н. С. Лесков».

О какой моей рукописи идет речь в следующем письме Н. С., я припомнить не могу, хотя слабостью памяти не страдаю до сих пор, но это происходило в самое бедственное и смутное время моей жизни, когда моей и тогда уже старой голове было естественно не запоминать всего переполнившего ее, да это и не важно. Моя задача в этом отрывке из моей Автобиографии и моих Воспоминаний показать искренность, мягкость и доброту характера Н. С. Лескова, так ярко выразившиеся в его письмах и его отношениях ко мне, а также и его настроение в то время.

«5 июня 86 Спб, Сергиевская 56, 4.

Достойнейшая Елизавета Николаевна!

Я получил оба Ваши письма, из которых

последнее меня очень тронуло его деликатностью перед тем, что Вам могло бы и должно бы показаться невежливостью с моей стороны. Благодарю Вас за это милое ко мне снисхождение. Рукопись Ваша у меня цела и отыскана, но я третий месяц лежу и только изредка встаю, чтобы лечь снова. Болезнь — ревматизм. В Саки ехать не хочу, да почти и не могу (далеко и жарко) — а поеду лечиться грязями в Эзель или в Кемерн. Уехать я спешу, но не знаю, когда уеду. Наверно, не ранее 10–15 июня. Рукопись Вам пришлю в первый же день как выйду на свет. Впрочем, посылаю ее при этом же письме по почте. Тяжелые пакеты доходят исправно.

Работаю я мало, и болен и устал от всех впечатлений жизни. Больной не раз вспоминал Вас, как Вы хорошо (умно и достойно) сносили удары бедствий, и имел Вас в уме своем за образец. Надо беречь ясность мысли и не уступать ее никому и ничему. Она и „жжет и заживляет“ раны души. Вам этого прекрасного дара отпущено довольно.

Писать трудно. Условия цензуры и тяжести и досадительны, а публика досадительно пу-

ста и бессмысленно требовательна.

С острова Вам, разумеется, надо уйти. Это совсем не наше место. Укажу Вам опять на Пески, в местностях, прилегающих к Смольному, или на Пет. сторону — против Парка. И чисто, и сообщение хорошее, а воздух прекрасный, и с собакой гулять можно. Я раз было поселился на В. Острове, заплатил за треть деньги и (через три недели — черн. рукопись) сбежал оттуда. Мне там не нравится. Не знаете ли лекарств от ревматизма? Я все думаю, что кто-нибудь их знает.

Преданный Вам
Н. Лесков».

Я сама страдала ревматизмом и сообщила Н. С., что испытала для облегчения. Это вызвало следующее письмо:

«7 июня 86

Достойнейшая Елизавета Николаевна!

Благодарю Вас за приглашение и за Ваши опытные сведения о ревматизме. К Вам я с радостью приеду, когда мне это будет возможно. Теперь я — калека на костылях. Ехать ни-

куда и обуться даже нельзя. Терплю сильно и сношу тоже полное одиночество. Когда можно будет приехать к Вам, напишу заранее. (Что мы с Вами вместе поедем <?> — это, кажется, все равно — черн. рукопись.) Гомеопатию я не отрицаю, но она мне не помогала. Я знаю, что Вы пустякам верить не охотница и в пользу гомеопатии говорите кое-что дельное, но когда очень больно, тут поневоле берешься за то, что посильнее. Гомеопатией я уже лечился, но она мне нимало не помогала. Куда поеду на воды — еще себе не решил этого. Кажется, остановлюсь на скучной Старой Руссе, где соляные ванны достаточно сильны, а переезд ближе и дешевле. Эзель приятнее, но дальше, страшусь, как бы не околеть дорогою, а я поеду один и без прислуги даже. В Руссу же по ж. д. я могу выехать в любой день, как почувствую себя в силах, и в один же день буду на месте. Кажется, это легче, как Вы думаете?

С „мыслями“ все терпели горе, а кто их имел, тот, однако, не хотел их лишиться. Разумеется, глупцам и эгоистам живется лучше, но ведь не завидовать же им. Терпите, все

лучшие люди терпели.

Преданный Вам Н. Лесков».

Во время этой переписки я была расстроена и физическими, и нравственными страданиями, не ожидала долголетней жизни — я тогда уже приближалась к семидесятилетнему возрасту — и просила Н. С. написать мою биографию, когда я умру. Обратиться с этой просьбой к Н. С. меня побудило не пустое тщеславие и вовсе не высокое мнение о себе, а простое соображение, что биографии не одних знаменитостей пишутся, и как бы ни ничтожна была моя деятельность, я принадлежу к первым пионеркам женского литературного труда и, может быть, кому-нибудь и вздумалось бы заняться историей моей жизни за неимением лучшей темы, а мне случилось читать биографии известных мне лиц, где правда заменялась фантазией, а предположения выдавались за факты. Н. С. же, один из тогдашних писателей, знал меня лично — всех других я пережила. Не думала я тогда, что не ему придется писать обо мне, а мне вспоминать о нем в печати.

«9 июня 86 Спб, Сергиевская 56, 4.

Достоуважаемая Елизавета Николаевна!

Побывать у Вас я хотел до отъезда — именно когда поеду на остров брать себе билет на пароход в Аренсбург. Надеюсь, что так и сделаю, и будет ли это к обеду или нет, это все равно. По крайней мере я Вас увижу. (Обедать Вы ко мне приедете после, когда будем на более близком друг от друга расстоянии. — Черн. рукопись.) Терпение поневоле может быть раздраженное и злобное, а может быть и покорное, полное ума и достоинства. Первое безобразно, а второе по крайней мере почтенно и хорошо действует на других. С судьбою ведь не подерешься... Как же не говорить другу — терпи, друг, как человек достойный! Я знал Вас хорошей мастерицей терпеть, и зачем Вам в этом разучиваться? Болезнь моя слегка облегчилась. Сегодня я ездил прокатиться и подышать воздухом. Теперь вечер (11 часов), а дурных последствий нет. Болезнь эта — чистейший ревматизм, а не подагра, как Вам кажется. Опухоль ревматизму свойственнее, чем подагре. Ноги болели и оста-

лась опухоль стопы. Вчера получил разрезной сапог и сегодня могу выйти. Мысли о биографии навевают Вам тоска и горе. Возможно, что-нибудь и лучшее. Но слово Ваше меня глубоко трогает, и если будет так, что я переживу Вас, то я свято исполню эту Вашу волю. Странно одно, что три дня тому назад ко мне пришел один старик (76 лет) и принес мне свои записки с тем же самым грустным поручением. В серьезные минуты писатели, верно, верят в мою любовь к истине и неспешность на осуждение. Читали ли Вы, что „Соборяне“ переведены и вышли в свет в Лейпциге? Разумеется, я никого об этом не просил.

Почтительно целую Вашу руку.

Н. Лесков».

Н. С. был у меня, как обещал, перед отъездом в Аренсбург, и хотел написать оттуда, но долго не получая от него известия, я приписала это тому, что вывела его из терпения моей «непокорностью судьбе». Точного смысла моего письма не помню. Вот что он ответил мне:

«23 июля 86 Вторник, Аренсбург. Hofen Str.

Простите меня, многочтимая Елизавета Николаевна, что замедлил ответом. Я очень уж разгневался здесь. Ничего такого, что предполагаете, мне и на мысль не впадало, да если бы и так было, как Вы пишете, то и это нимало бы не охладило моих чувств к Вам как к почтенной, многострадальной и благородной женщине. Здоровье мое хорошо, а леность безмерная.

Н. Лесков».

Потом в нашей переписке настал перерыв, ничего не случилось, о чем стоило бы переписываться. Помню, что я раз писала и Н. С. не ответил, я оставила его в покое, предположив, что он очень занят (да и содержание письма, как мне теперь кажется, непременно-го ответа не требовало, и сама я была тогда очень занята — черн. рукопись). В 1887 г. я обратилась к Н. С. с просьбой подписаться свидетелем на моем завещании и напомнила ему об оставшемся без ответа письме. Н. С. мне написал:

«19 февраля 87, Спб, Сергиевская 56, № 4.

Простите меня, Елизавета Николаевна! Я действительно получил от Вас письмо по осени, но вместе с ним получил и другое известие, которое надолго выбило меня из колеи, я виноват перед Вами, но и сам достоин сожаления. Расстояние, нас разделяющее, ужасно длинно[3] и это не шутка. Видеть же Вас мне всегда радостно, так как Вы все говорите мне добрые слова и представляете собою образчик нестареющего духа. Свидетелем подпишусь, и приеду к Вам в назначенные Вами часы на этих днях. Добро, о котором Вы говорите, невелико, но мне невыносима эта забота о „культе мертвых“ и полное безучастие к живым.

Всегда Вам преданный Николай Лесков».

В то время в печати говорили о постановке кому-то памятника, а Н. С. находил, что лучше помогать живым. Я заметила ему, что добро делается и живым. Это мое замечание и вызвало последние строки его письма. (Не для печати, а для Редакции: Выпускаю его отзвувы о Литературном фонде. — Е. А. — черн.

рукопись.)

Он ко мне не приехал, как обещал, и я его не беспокоила. Я настолько знала его доброе сердце и участливое расположение ко мне, что не могла приписать несдержанное мне обещания ничему другому, как недосугу или прост забывчивости при его занятиях.

ко мне, что не могла приписать несдержанно мне обещания ничему другому, как недосугу или просто забывчивости при его занятиях. Но когда в «Новом Времени» появилась его статейка об обязанностях учителя[4] — это было во время студенческих волнений, хотя он о них не упоминал, — я выразила ему, какое удовольствие доставила мне эта статейка и некоторые другие его рассказы, и окончила мое письмо, сколько мне помнится, этими словами: «...все хорошо, нехорошо только оказывать пренебрежение тем, кто его не заслужил». Под пренебрежением я, конечно, подразумевала то, что он давно у меня не был. Он ответил:

«30 Генваря 88

Уважаемая Елизавета Николаевна!

Ваши строчки всегда мне очень милы и всегда меня терзают, а исправиться я никак не могу. Как я могу „оказывать пренебрежение“ Вам, женщине, которая мне во всем помыслям и которая на глазах моих снесла героически такое множество горя? Это и говорить смешно и напрасно. Я Вас и люблю, и уважаю, и про Вас помню, а не бываю я нигде и ни у кого. Я измучен не чем-нибудь одним, а как говорится, „устал от всех впечатлений жизни“. Я знаю, что мне с Вами легко говорить, т. к. едва ли есть кто-нибудь другой, с кем бы я был столько единомыслен, как с Вами, но куда деть свою неодолимую, снедающую тоску и скуку, для выражения которых и слов нет...

Почтительно целую Вашу руку
Н. Лесков».

Это письмо показывает, как переменялось настроение Н. С. после начала нашего знакомства. Впечатления жизни показали ему, как трудна «покорность судьбе».

После этого письма я потеряла всякую надежду видеть у себя Н. С. и очень обрадова-

лась, когда совершенно неожиданно он приехал ко мне. Тоска и скука, которыми он страдал, не уменьшили его сердечной доброты, с прежним сочувствием отнесся он к моей тоске от моих собственных жизненных впечатлений, а когда разговор коснулся статьи, так меня заинтересовавшей, что я сделала из нее выдержки для русских читателей, Н. С. этой статьей заинтересовался и просил дать ему прочесть мою рукопись. Статья эта называлась: «Настоящее значение Гамлета» The real significance of Hamlet, автора не известного, и была помещена в журнале Temple Bar в одном из восьмидесятих годов, каком именно не помню

Через несколько дней он мне написал:

«19 ноября 88 Спб

Достоуважаемая Елизавета Николаевна!

Я прочитал Вашу рукопись и имел случай говорить о ней. Ее напечатают в фельетоне, если Вы согласны на то, чтобы сделать сокращения, освободив ее от длиннот и английских цитат, делающих ее тяжелою для внимания газетного читателя, и я думаю, что газете

невозможно поступить иначе. В сокращенном виде она может идти как компиляция, сделанная редакцией газеты. Впрочем, как угодно. Я ожидаю Вашего ответа.

Преданный Вам Н. Лесков».

Это известие было для меня совершенно неожиданно. Н. С. ничего мне не сказал, когда брал от меня рукопись, о своем намерении хлопотать, чтобы ее напечатать, притом эта статья годилась скорее для журнала, чем для газеты. Но я находилась тогда в таких обстоятельствах, что не могла отвечать иначе, как согласием, и написала Н. С., что спорить и прекословить не стану, а, напротив, буду очень благодарна ему и издателю газеты. Н. С. сократил статью по требованию газеты, но время проходило, а статья не появлялась. Н. С. был рассержен, а спрашивать не захотел и предлагал отдать мне мою рукопись в ее цельном виде, но думал, что в журнале не возьмут такой статьи, так как для нее в России не найдется и пяти аматеров, а в газете она, может быть, еще и появится когда-нибудь, хотя насчет аматеров я была другого

мнения, но не захотела спорить с Н. С., и статья, отданная в газету, так и осталась ненапечатанной.

В это время настроение Н. С. было очень мрачное. Приведу несколько выписок из его письма от 14 января 1889 — все письмо для печати неудобно.

«Живем в такой век, что никаких надежд ни на что лучшее нет. Блаженны умершие. Самый искренний совет, какой можно дать живым, „ожидающим счастья“, это совет хохла, который видел, как выбивался пан, попавший в прорубь и старавшийся выскочить. Хохол ему закричал: „Не тратьте, пан, сил, спускайтесь на дно!“ Это самое и нам пришлось, но один купец мне сказал: „Впрочем, при капитале существовать можно!“ Одно другого гаже, а все правда. А я Вам, бывало, говорю и пишу: надо приучать себя обходиться без счастья, жизнь дана совсем не для счастья, так ведь Вы назвали меня мистиком, а на самом-то деле я прав, хотя и имею всегдашнее стремление подчинять себя учению, которое вводил Галилейский пророк, распятый на кресте.

Жизнь не то, что она есть, а как она является в нашем представлении. Ваше представление ужасно и мучительно, а жизнь не для счастья, не для счастья, не для счастья».

Я не менее Н. С. благоговею перед учением «Галилейского пророка», но никогда не соглашалась, что оно должно исключать счастье земное и что жизнь дана нам не для счастья. Зачем же человек чувствует потребность счастья, которое каждый понимает по-своему. Это чувство врожденное. Мне всегда казалось, что счастье и несчастье зависят от последствий благоприятных и неблагоприятных обстоятельств, и если несчастья раздражают нас, то почему это может выражать «непокорность судьбе». Это может быть только неприятно для тех, кому мы высказываем свое горе, но горе бывает такое тяжкое и мучительное, что помимо нашей воли мы чувствуем потребность высказать его. Н. С. осуждал меня не за это, он только убеждал меня «покоряться», я же по своим убеждениям не находила, чтобы моя покорность была нужна кому-нибудь. Он думал, что это меня утешит, а я думала, что в этом могут находить утешение толь-

ко те, кто чувствует не глубоко.

Только в этом и было разногласие между нами. В те годы, когда я его знала, Н. С., несмотря на свое несколько мистическое настроение, всегда был в своих суждениях прогрессистом, как принято называть людей, не желающих возвращения к старому порядку, и нам не о чем было спорить.

Когда потом, давно не видевшись с Н. С., я спросила его, не может ли он навестить меня, он ответил:

«7/IX.92.

Здоровье мое таково, что ничего не могу пообещать. Я очень желал бы приехать к Вам, но редко бываю в состоянии выехать. У себя даже до 2-х ч. дня я бодрее и сильнее. В 2 ч. я иду тихо гулять и потом не должен себя нимало неволить к разговору, т. к. это возвышает нервность. Если можете пожаловать ко мне до 2-х ч., то напишите, когда вздумаете, — я буду Вас ожидать. Сам обещаться не смею.

Всегда Вам преданный Н. Лесков».

Я написала, что приеду, но боюсь, не обеспокою ли его.

Вот его последнее письмо:

«9. IX.92 г.

Я очень болен и только порою мне бывает легче. Болезнь у меня нервная и сердечная, которой исцелить нельзя и припадки ее в молчании сносить невозможно. Все способное волновать вызывает страшные мучения. Утром до 2 часов я бываю сильнее и могу участвовать в суждениях. Позже все впечатления влияют на мои нервы с невероятной силой и не раз случалось, что припадки случались при посторонних. Видеться с Вами был бы рад.

Н. Лесков».

Я была у него, он чувствовал себя лучше в тот день. Мы беседовали долго, больше об его здоровье и моих делах, которые очень интересовали Н. С. Из нескольких выражений, вырвавшихся у него, я могла заключить, что в его настроении произошла некоторая перемена. Мне показалось, что покорность судьбе не

очень его утешала. Но мы не вдавались в отвлеченные предметы, разговор касался жизненных фактов.

С тех пор я не видала Н. С., и его и мое здоровье не позволяло выездов, а к переписке особенной надобности не представлялось, и я не хотела его беспокоить.

В 1894 г. в день моих именин я получила от Н. С. его визитную карточку. Он никогда не поздравлял меня в этот день ни лично, ни письменно, ни карточкой, и я поняла, что он хотел этим показать, что он меня помнит.

Он оставил во мне впечатление писателя с талантом очень своеобразным, собеседника остроумного и интересного, человека добро-сердечного, умевшего понимать чужое горе.

ВАРНЕКЕ Б. В.[5] ДВЕ ВСТРЕЧИ С Н. С. ЛЕСКОВЫМ

*А станешь стариться, нарви
Цветов, растущих на могилах,
И ими сердце оживи.
Некрасов*

Я видел Лескова незадолго до его смерти, в 1894 году. Тогда я поддерживал скудость своего студенческого житья мелкой театральной хроникой в «Петербургских Ведомостях» В. Г. Авсеенки.[6] Однажды меня потребовали в кабинет к Авсеенке; он держал в руках запечатанный конверт и предложил мне сейчас же отнести этот конверт к Лескову, подождать там, пока он выправит корректуру, и затем вернуть его в редакцию.

Щедрый издатель это путешествие обещал посчитать мне в 100 строк, а за строчку мне полагалось полторы копейки; стало быть, мне предстоял доход в полтора рубля, что уже само по себе представляло немалый соблазн.

— Я мог бы, конечно, и даром все это устро-

ить, послать ему корректуру с рассылным, — пояснял Авсеенко. — Но Лесков совсем рехнулся со своей мнительностью: статья его, как он выражается, «с приключками», и он боится, как бы не раскрылось его авторство. Поэтому он требует, чтобы корректуры его никак не давали рассылным, которые, мол, готовы за двугривенный выдать его корректуру самому заклятому его врагу — Третью Филипову «со аггелы».[7]

Вот поэтому ради его капризов приходится идти на расход и посылать кого-нибудь из сотрудников.

Когда я с охотой согласился исполнить это поручение, Авсеенко дал мне несколько наставлений:

— Прежде всего, если у вас есть какое-нибудь знакомство среди синодалов, отрицайте это самым решительным образом. Иначе все пропало, и Лесков подымет целую историю, что его предали самым лютым его врагам. Я и выбрал-то вас больше всего за фамилию: таких фамилий среди церковных не бывает. А затем, пока он будет править корректуру, сидите смирно и, главное, ничего не разглядывайте.

вайте у него и ни про что не спрашивайте: он этого терпеть не может. И если вы не угодите ему, свой гнев он обрушит на газету и перестанет давать статьи, а они забористые...

Через двадцать минут я входил в кабинет Лескова. Подозрительно осмотрев меня несколько раз с головы до ног, Лесков подверг самому тщательному осмотру принесенный мною пакет, запечатанный зеленым сургучом с каким-то замысловатым оттиском. Перевернув его раз десять во все стороны, Лесков вынул из одного из бесчисленных ящичков своего бюро отрывок бумажки с такой же печатью и стал их внимательнейшим образом сличать. И только после этого всестороннего исследования Лесков заметил:

— Да, печать подлинная, Авсеенки!

Затем он аккуратно вскрыл ножницами конверт, разорвал его на мельчайшие части и бросил их в печь, пододвинул на край большого письменного стола старинный парный подсвечник и предложил мне там поместиться, а сам у другого такого же подсвечника стал править корректуру.

Статья была невелика и состояла из 5–6

гранок, но Лесков на ее правку потратил часа два с половиной. Читал он одну строчку, заложив все остальное толстой цветной бумагой. Часто справлялся в старой записной книжечке, проложенной небольшими бумажками разного объема, и вычитанное в ней записывал на особые листочки, которые приклеивал в виде дополнений на края гранок.

Пристальная работа его, видимо, утомляла, и раза четыре он прерывал ее, приваливаясь ненадолго на диван. Наконец, когда работа была кончена и гранки пестрели целым роем пометок и вставок, Лесков стал аккуратно клеить конверт для них из толстой желтой бумаги и запечатал его огромной восковой печатью, изображавшей какую-то иконку.

— Ну вот и хвала всевышнему! Управились, теперь и побаловаться можно, — добродушно промолвил Лесков и, вынув из шкафика над столом блюдечко с мармеладом и финиками, радушно предложил отведать это «афонское утешение», как он выразился, а сам стал есть тоже финики, но только из совсем другой плетенки.

— Что это вы читали? — спросил он, пока-

зывая рукой на ту книжку, которую я захватил из дому и читал во время его работы. Я молча протянул ему маленький томик.

— Ах, Готтфрида Келлера *Das Sinngedicht*, [8] прекрасный, прекрасный писатель! Очень люблю этого уютного швейцарца, куда лучше нашего Льва из Ясной Поляны! Талант не мельче, а зато без всяких проповедей, вывертов и крейцеровых сонат! А вот этой вещицы читать не доводилось.

Видимо, книжка заинтересовала Лескова, и он, словно совсем забыв про мое существование, стал пробегать странички немецкого романа.

— Да, занимательно! Очень занимательно, — промолвил Лесков, отрываясь от книжки. — Оставьте-ка мне эту книжечку в залог: дней через пять Авсеенко вас пришлет ко мне с гонораром. Ведь с рассылным я денег не приму, — стал объяснять Лесков. — Рассылного подкупить ничего не стоит: он скажет злым людям, что носил мне гонорар; те сейчас догадаются, что я у Авсеенки пишу, подкупят метранпажа, добудут через него мой оригинал, и тогда опять из всех подворотней за-

улюлюкают. А студент все-таки немножко ненадежнее. А как, кстати, ваша фамилия?

Я назвал себя, и Лесков, успокоенный моим заморским именем, зачем-то записал его в книжечку.

— Верно, с синодалами не водитесь?

Я откровенно признался, что предпочитаю балетный мир синодальному, что уже совсем успокоило мнительного писателя.

— Так приходите с денежками, а теперь торопитесь к Авсеенке; он, конечно, сидит и ждет вас; понимает же он, что такую доверительную вещь нельзя секретарю передать.

Однако в редакции никого уже не оказалось, и мне пришлось самому идти в наборную с заветным конвертом. Не успел я войти, как метранпаж, Василий Васильевич, закричал мне:

— Это, верно, корректура от Лескова. Давайте скорей: его вавилоны целый год править надо! — И совсем непочтительно разорвал драгоценный конверт, заставив меня лишний раз убедиться в тщете всех человеческих усилий.

* * *

Дней через пять я получил приказание отнести Лескову из конторы 80 рублей: по тем временам гонорар редкий. Лесков, видимо, меня поджидал, предложил раздеться, аккуратно пересчитал деньги, спрятал их в какую-то причудливую коробку и угостил кроме фиников еще каким-то сладким вином достаточно противного вкуса.

— Прочитал я это самое Sinngedicht, — заговорил он, возвращая мне книжку. — Написано хорошо, занимательно, да самый сюжет мне не по душе. Келлер доказывает благодетельную силу любви в духе лессинговского стиха, что стоит только любящими устами поцеловать белую лилию, и она станет красной. Это совсем в рыцарском духе и больше по части Болеслава Маркевича или вашего Авсеенки, чем правдивого писателя. Я сам, сколько к жизни ни присматривался, все больше видал разрушающую силу любви, и встречавшиеся мне розы от любви не расцветали, а совсем гибли и замерзали.

Я сейчас же припомнил Маню Норк из его «Островитян», и Лескову это напоминание, видимо, пришлось по душе.

— Да, да, и Маня Норк, и Лиза Бахарева, и даже сама искушенная летами и столичной практикой Воительница. Все они у меня от любви одно только горе познали, — проговорил он с каким-то печальным раздумьем. — И так глядят на любовь не одни мои только глаза, это не мой собственный дальтонизм. И Лиза Калитина и Анна Каренина тоже от любви не особенно что-то расцвели. А вон швейцарец-то какие райские узоры разрисовал, и ведь не из головы выдумал, а сам все это наблюдал да видел. Такова уж, верно, наша русская незадача: не умеем мы из житейского сада золотые яблочки срывать и там, где иностранец наслаждается красными лилиями, собственными руками разводим себе же на муку терн да шиповник. Да вот поживете, так сами, юноша, на своих боках это узнаете, — ласково прибавил Лесков и пошел, едва перебирая ногами, к дивану: видимо, разговор его утомлял, и я поспешил удалиться, а приблизительно через месяц прочел в газетах о смерти Лескова.

БОРХСЕНИУС Е. И МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ СЕМЕНОВИЧЕ ЛЕСКОВЕ[9]

Николай Семенович был на редкость своеобразный, исключительный человек. За всю свою долгую жизнь я не встречала ничего на него похожего. Не знаю, был ли он всегда таким, потому что познакомилась я с ним только под конец его жизни — в 1891 г., — а в феврале 1895 г. он уже умер. Но за эти четыре года нашего знакомства я видела его так часто, что могла близко наблюдать и его самого и весь окружающий его горизонт. Жаль, что это было так давно, — 35 лет тому назад, — и многое уже улетело из моей старой памяти... В нем было все свое «лесковское», начиная с почерка и манеры писать. У него были свои словечки, которых нельзя встретить ни у одного из наших писателей, свои обороты речи, такие цветистые прилагательные и такой юмор собственной окраски, по которым можно было узнать «автора». Говорят, что в по-

черке, отчасти, выражается характер человека: это мнение вполне к нему подходило, потому что почерк его, — мелкий как бисер, — в то же время четкий, чистый и красивый, — даже близко не походил ни на какой другой; его можно было узнать из тысячи. Даже форма букв была у него особенная — кругловатая, иногда витиеватая, но всегда отчетливая и красивая.

При ближайшем знакомстве он больше всего удивлял своим умом, ясным, логичным и не лишенным большой практической сметки.

Наружность его невольно обращала на себя внимание: в молодости он верно был очень красив, в свои 53 года это был породистый, полный, среднего роста, приятный человек, с движениями медленными и даже важными, что очень к нему шло. В сравнении с ростом у него была небольшая голова, с коротко стриженными седыми волосами, большой открытый лоб и приятная улыбка. Особенно хороши были, своим выражением, его небольшие карие глаза: умные, живые, пронзительные, иногда лукаво-насмешливые,

они легко загорались гневом и огнем, когда он начинал сердиться или слышал пошлость и несправедливость, которых не могла выносить его благородная душа.

Как все богато одаренные натуры, Николай Семенович был по характеру очень сложный человек: в нем уживались самые противоречивые контрасты. Например, отрицая всякие предрассудки, всю обрядовую часть религии, он в то же время был суеверен, и даже верил в народные приметы, хотя и старался этого не показывать. По природе очень добрый и чуткий, он на вид казался часто суровым, властным и не совсем естественным, что многие ставили ему в вину и называли его позером и фарисеем.

Между тем такого рода неестественность зависела от плохого состояния его здоровья. По натуре живой, он старался сдерживать себя во всем: в пище, в движениях, в разговоре и в одежде. Он не мог носить обыкновенного платья, так как оно стесняло его, и мешало ему дышать. Дома он всегда носил широкую фланелевую блузу, а выходя на воздух, или в гости, надевал сверх нее кафтан из темно-си-

него тонкого сукна, фасона вроде кучерского, с застежкой на боку, и мягкий картуз на голову.

Н. С. страдал хронической грудной жабой (*Angina pectoris*), припадки которой были очень опасны, а потому и боялся всякого стеснения или волнения, а между тем люди, не знавшие этой причины, считали его манеру одеваться за желание оригинальничать и обращать этим на себя внимание.

Он был страшно вспыльчив, а хотел казаться хладнокровным и сдержанным. Скупой в мелочах, особенно для себя, он готов был всегда прийти на помощь, и своим и чужим, если находил это нужным.

Под конец своей жизни он всецело подпал под влияние Л. Н. Толстого, отрицал всю обрядовую сторону религии, но любил красоту православного богослужения и в глубине души оставался мистиком. Никто из наших писателей не изучил так глубоко и так детально быта духовенства, со всеми его светлыми и темными сторонами, иначе он и не мог бы так талантливо написать своих «Очерков из архиерейской жизни» и «Соборян», появле-

ние которых на свет он, впоследствии, считал ошибкой и отрекался от них.

Проповедуя во всем простоту, он в то же время любил красоту жизни, со всеми ее, так называемыми, условностями. «Самое дорогое человеку — когда ему дают то, что ему нужно и о чем он просит» — это был его любимый афоризм — «а то обычно люди, по своему эгоизму, дают именно то, что им самим приятно дать, а в том, что нужно человеку, нередко отказывают». Замечание это поражало меня своей меткостью. Чтобы прекратить спор, он всегда говорил: «Ну что тут толковать, когда нам с Вами солнце из разных окон и с разных сторон светит».

О своих читателях он говорил с большим сочувствием: «Удивляюсь, сколько есть еще на Руси людей, которые меня читают». Зато о критиках и особенно о цензорах вспоминал с содроганием, как о кошмаре: «Ведь это им я обязан своей болезнью; когда однажды мне вернули мой рассказ в изуродованном виде, у меня дух захватило от негодования и обиды на этих цензурных пиявок; от боли в груди я перестал совсем дышать и думал, что уми-

раю. Это был мой первый припадок грудной жабы». Припадки эти повторялись при каждом сильном волнении, а как было уберечь его от них, когда он все принимал близко к сердцу: и общественные неурядицы и голодовки, и репрессии против сектантов, и судьбу несчастных узников Петропавловской крепости и Крестов... Кроме того, нападки врагов в печати, литературная травля, которой он подвергался несколько раз в течение своей жизни: один Буренин чего стоил с его хлесткими фельетонами и обвинениями Н. С. в фарисействе.[10] Все это, вместе взятое, было теми вредными волнениями, которые уносили его здоровье и жизнь. Чтобы оградить его от них, ему нужна была «родная душа», которая бы своим вниманием к его здоровью поддерживала его физические и духовные силы, а вместо такой «родной души» с ним жили две довольно бестолковые служанки и его воспитанница Варя, девочка лет 11, грубоватая, своевольная, часто огорчавшая своего больного «дядю», как она называла Н. С.

Где же были в это время те, с кем он прожил жизнь, кого любил, с кем делил радость

и горе. Отчего они, эти люди, не пришли к нему на помощь в то время, когда на него на-
двинулись старость и болезнь. Невыразимо
грустно было видеть, что, несмотря на свой
огромный литературный талант, на все богат-
ство духовной жизни, Н. С. остался на старо-
сти лет совершенно одиноким. Справедлива
французская поговорка: «Il n'y a de bonheur,
que dans les voies communes» (счастливы бы-
вают только заурядные люди). А то, что у него
была любящая душа, что он жаждал привя-
занности и домашнего уюта, доказывает его
горячая любовь к своей воспитаннице, о кото-
рой он заботился как самый нежный отец. Ко-
гда Варя заболела какой-то заразной детской
болезнью, он, забывая об осторожности и о
своей болезни, целыми днями сидел над ней
в больнице. Но от этой девочки он не видел
ни нежности, ни внимания, ни даже обычной
детской привязанности; она его побаивалась,
и только... и он отлично это сознавал. Правда,
он давал ей довольно своеобразное воспита-
ние, и, так как не делал разницы между маль-
чиками и девочками, то она лазала по дере-
вьям, ходила на ходулях и развивалась не по

возрасту. Сначала он хотел сделать из нее простую грамотную работницу, но потом, под влиянием советов окружающих, отдал ее в немецкую гимназию (Annenschule), чем был, впоследствии, очень доволен, так как вообще ему нравилось английское и немецкое воспитание. Со своим женатым сыном — офицером пограничной стражи, — и с его женой, он был в очень далеких отношениях, и виделись они крайне редко. Ближе других была ему семья падчерицы, Макшеевой, которую он по своему выбору выдал замуж, и был этим очень горд, так как муж ее оказался превосходным человеком.

Насчет воспитания детей у него были своеобразные взгляды, и с ним не раз приходилось по этому поводу спорить; так, например, он советовал мне дать моему 12-летнему сыну читать сочинения Мопассана, потому что говорил, что у детей много здравого смысла, они отбросят ненужное и впитают в себя все хорошее. Но я стояла за «Давида Копперфильда» и за Диккенса вообще. Основной чертой характера Н. С. была независимость во всем и повышенное самолюбие, из-за которых ему

пришлось в жизни много пострадать.

Мы познакомились с Н. С. совершенно случайно на даче в Шмецке, за Нарвой, на берегу моря. Он жил от нас в 10 минутах ходьбы, на даче старика Шмецке. Все соседи интересовались посмотреть на знаменитого писателя. Про него говорили, что он нелюдимый, больной, живет уединенно и избегает встречаться и говорить с людьми. Мы часто видели его на берегу, гуляющим с двумя маленькими белыми собачками, всегда с книгой, одного или с девочкой-подростком. Но верно ему стало скучновато быть все время одному. Он познакомился сначала с моими тремя мальчиками, а потом и со мной. Узнав, что мой муж доктор, к которому местное население относилось с полным доверием, Ник. Сем. пригласил его к себе, чтобы посоветоваться насчет своего здоровья, нашел, что он превосходный врач и верно понял его болезнь. Это было удивительно, потому что Лесков вообще чувствовал недоверие к медицине и к докторам, в частности. В этом его горячо поддерживал Л. Н. Толстой, хотя сам он, Толстой, не расставался с доктором Маковицким до самой своей

смерти...

Гуляя со мной по прибрежным дорожкам Меррекюльского леса, расчищенным, уставленным скамеечками, Н. С. приходил в восторг. Он садился за ветром и, опираясь на свою палочку, говорил мне: «Посмотрите, какие разумные, догадливые и культурные люди заправили этого дачного уголка; как они прекрасно поняли, что необходимо для отдыха больным и старым людям». При этом он с упоением вдыхал в себя смолистый аромат прибрежных сосен и солоноватый воздух моря, что давало отдых его нервам и мозгу.

С этого года Н. С. каждое лето приезжал сюда на дачу, но жил

в Меррекюле, а не в Шмецке, где было сыrovато. Он был буквально влюблен в свой Меррекюль, в его немецкую чистоту, простоту и порядок. Осенью, с переездом в город, оказалось, что мы были ближайшими его соседями, жили в пяти минутах ходьбы от его квартиры. Он жил на Фурштадтской, во флигеле дома бывшей больницы княгини Барятинской. Квартира его состояла из трех небольших комнат, была темновата, но удоб-

на для него отсутствием лестницы, так как это был низкий 1-й этаж. Большую прелесть ее представляло соседство Таврического сада, куда он уходил отдыхать от людей и от городской суеты. При первом моем посещении его квартиры меня поразило убранство кабинета, который походил на маленький музей. В нем было много старинной мебели, гравюр, картин и обилие часов, которые били одновременно, аккуратно заводимые любительской рукой хозяина. Тут были и старинные английские и швейцарские и другие заграничные часы. Н. С. подолгу жил за границей и привозил оттуда много интересных вещей. Большой его письменный стол занимал середину комнаты; на нем лежало множество любопытных книг и безделушек, за этим столом он принимал гостей, угощал их чаем, так как был очень гостеприимный хозяин. Другой стол, за которым он работал, стоял у окна сбоку. Маленькая передняя отделяла его две комнаты от кухни и от комнаты Вари. Мы с ним виделись почти всякий день. Я приходила читать ему газеты и журналы, чтоб дать отдых от работы его утомленным глазам. Получение

писем от Л. П. Толстого всегда радовало, но и волновало его, разобрать почерк Толстого было необычайно трудно, даже я, с молодыми глазами, могла с трудом это сделать. Из писем Л. Н. он узнавал о преследовании сектантов, о разлуке их с женами и детьми и о высылке их в отдаленные места. Н. С. метал гром и молнии на администрацию, которая преследовала людей за их убеждения. Незадолго до этого времени появился в печати его рассказ «Полуношники» — живая и талантливая сатира на о. Иоанна Кронштадтского и на паломников, которые приезжали к нему просить «благодати».

Жизнь Н. С. вел самую правильную, распределенную по часам: по утрам по несколько часов он работал, потом съедал с Варей свой вегетарианский обед и отдыхал только по вечерам, когда его навещали знакомые и друзья. Встречала я у него много интересных людей. Чаще других его навещала Лидия Ивановна Веселитская (Вера Микулич), [11] обществом которой он особенно дорожил и почитал ее как талантливую писательницу и как исключительно хорошего человека. Часто у

него бывал художник Н. Н. Ге: «Сожалею, что смотрел картину без тебя, и буду огорчен, если ее снимут с выставки прежде, чем ты приедешь и ее увидишь. Это первый Христос, которого я понимаю. Так только я мог написать друг Толстого Ге» (А. Лесков,). В ноябре 1890 г. в «Неделе» писатель опубликовал следующую, не включенную в Собр. соч., заметку об этой картине (№ 44, 4.XI).

«Картина профессора Ге за границей (Письмо в редакцию).

Любителям художественных произведений русских мастеров без сомнения; хорошо памятна картина Николая Николаевича Ге, бывшая на последней выставке „передвижников“, под названием „Что есть истина“. Она возбудила много толков и вызвала очень много самых суровых осуждений за реализм обеих изображенных на ней фигур, а также за недостатки письма, которое казалось здешним критикам очень неудовлетворительным.

Картина была снята с русской выставки и перевезена за границу, где встретила иной прием. Берлинская художественная критика

нашла недостатки в фигуре Пилата, но зато с величайшею похвалою отозвалась о фигуре стоящего перед ним связанного и в рубище Иисуса Христа. Об этом были помещены краткие известия в русских газетах. Но затем картина Н. Н. Ге продолжает показываться в других городах Европы и в этом своем путешествии встречает повсеместно самый радушный прием и такой успех, который достается не многим художественным произведениям.

Из проявлений этого рода особенного внимания заслуживает то, что произошло после выставки картины в Гамбурге. Один из моих друзей (обстоятельный человек, слова которого достойны полного доверия) пишет мне, что Христос в картине Ге необыкновенно трогательно действует на посетителей выставки из беднейшего класса, и в Гамбурге дело дошло до того, что тамошние рабочие, по целым дням стоящие перед этой картиной, не могли помириться с мыслью, что ее от них увезут и они будут лишены возможности видеть лицо, много сказавшее их чувству. Чтобы не терпеть этого лишения, гамбургские рабочие, несмотря на свою бедность, „собрали четыре

тысячи рублей с тем, чтобы просить Ге повторить для них эту картину“.

Люди, знающие искреннюю преданность Николая Николаевича Ге одушевляющим его христианским идеям, радуются за художника, который непременно должен найти высокое утешение в таком внимании к его произведению в той именно бедной, трудовой среде, к которой полно сочувствием его доброе сердце. Николай Лесков».

Лето 1894 г. мы как всегда жили в Меррекюле, а по соседству с нами жили Макшеевы и Н. С., дачка которого стояла как раз против маленькой русской церкви. В тот год в Меррекюль приехало много художников: Шишкин писал там свои чудные вековые сосны, Волков — свои тихие воды и Дубовский писал глинт (высокая дюна по дороге в Удриас), красиво спускающийся к морю. Все эти произведения фигурировали впоследствии на выставке у «передвижников». Лесков очень интересовался и художниками и их произведениями.

Для нас он в этот год сам нашел удобную дачу, потому что дети мои были опасно боль-

ны и я не имела возможности поехать сама на поиски дачи. Этим он оказал нам огромную услугу, потому что больные мои вскоре поправились, благодаря удобствам дачи и хорошему воздуху. Упоминаю об этом для того, чтобы подчеркнуть трогательное отношение Н. С. к больным людям. У меня хранились два его письма (которых, к сожалению, я не имею в руках, как и всю мою переписку с ним), они были написаны во время моей тяжелой болезни, и в них Н. С. высказывает свой взгляд на болезни вообще, как на самое полезное, что судьба посылает человеку. Выздоровливающий сосредоточивается на мысли, как он жил до сих пор, так ли надо жить, в чем были его ошибки и за что судьба послала ему страдание. Таким образом, больной человек обновляется и духом и телом. Далее, утешая меня, он говорил: «Я чувствую, что Вы выздоровеете и еще долго будете жить» — он не ошибся... Но кроме этих философских утешений он старался и в жизни проявить свою помощь: детей моих Н. С. считал хорошей компанией для своей Вари, и часто говорил мне: «Вот таких детей я люблю за то, что они здо-

ровые, не боятся людей и не ломаки». Приведу еще один трогательный факт из его общения с детьми. Я обещала моему старшему сыну подарить часы. Н. С., как специалист в понимании часов, вызвался сам ему выбрать, пошел вместе с нами к знакомому антикварию и выбрал большую старинную серебряную луковицу, с ключиком, которая много лет отлично служила моему сыну и он берег ее как дорогую память. Не многие из литературных знаменитостей спустились бы со своего трона, чтобы сделать удовольствие знакомому ребенку.

Возвращаюсь опять к последнему лету ого жизни. Благодаря пребыванию многих знакомых и сравнительно хорошему самочувствию Н. С. теперь редко оставался один, тем более что сам был очень гостеприимный. Однажды он застал у нас несколько человек юристов и по этому случаю позднее, в разговоре со мной, высказал свой взгляд на юридическую профессию, как на самую вредную для людей. Особенно он ненавидел прокуроров и считал их жестокими, несправедливыми человеко-ненавистниками. «Они хуже преступников, я

бы их самих сослал на каторгу за то, что они хладнокровно губят людей». По воскресеньям он любовался на молодежь, выходящую из церкви, но сам туда никогда не ходил. Как и Толстой, он верил в существование бога, создавшего мир и людей. Суть его веры сводилась к тому, что человек должен исполнять волю «пославшего его». По возвращении в город Н. С. был все время грустен, как бы не в духе, хотя дела его шли хорошо, последние его рассказы имели большой успех у публики. Маркс купил его сочинения за 75 тысяч.

Письма Н. С. Лескова к А. Ф. Марксу.

Письмо от 29.IX.1891 г.:

«Достоуважаемый Адольф Федорович! Усердно Вас благодарю за присланный мне в подарок роскошный экземпляр сочинений Лермонтова. Я не мог написать Вам моей благодарности с Вашим посыльным, п[отому] ч[то] мне в ту пору было очень не по себе. Теперь мне лучше, и я постараюсь непременно изготовить Вам для „Нивы“ давно задуманный и обещанный Вам рассказ под заглавием „Оскорбленная Нетэта“. Предоставляю Вам полное право считать эту вещь принадлежа-

щею Вашему изданию и объявить ее на 1892 год под таким заглавием: „Оскорбленная Нетэта. Картины римской жизни времен Тиверия, с рисунками Ел. Бём“. Ваш покорный слуга Николай Лесков».

Письмо от 13.V.1892 г.

«Нельзя ли для меня тиснуть картинки, сделанные г[оспо]жого Бём к „Оскорбленной Нетэте“? Мне это почти необходимо. Подумайте: как бы это сделать и поскорее! Н. Лесков. 13 мая 92 г.

Пришлите мне, пожалуйста, оттиски „Юдоли“. Я хочу послать Толстому», прекрасно их издал, и они ходко раскупались. Из старых своих вещей Лесков больше всего любил «Стальную блоху» и «На краю света». Этот бесподобный рассказ он сам мне прочитал единственный раз. Больше всего он ценил свои идейные рассказы и апокрифы, как напр. «Прекрасная Аза». «Невинный Пруденций», «Гора», «Памфалон» и многие другие. Теперь подхожу к самому грустному месту моих воспоминаний: к последним дням его жизни. Осенью этого года[12] художник Серов писал

с него портрет, который и появился на Осенней Художественной выставке. Портрет был очень удачен по сходству и по живости, художнику удалось мастерски схватить характер лица. С Выставки я прямо пришла к Н. С., чтобы рассказать ему о своем впечатлении. Первое, что он меня спросил, было: «А рама какого цвета, черная?» «Да, черная», ответила я, недоумевая, почему это его так заинтересовало, и тут же заметила, что при моем ответе он изменился в лице, замолчал и отвернулся к окну. Я знала, что он верил в народные приметы, и подумала: «Наверно, это худой знак...» К несчастью, и примета и предчувствие его на этот раз оправдались. Недели через две после нашего разговора о портрете он захворал гриппом. Лечил его, как всегда, мой муж. Сначала болезнь не казалась угрожающей, хотя сердце работало плохо, как бывает всегда при повышенной температуре. Муж мой предупредил экономку, которая за ним ходила, что больного надо особенно тщательно оберегать от простуды. Между тем, когда с ним сделался припадок удушья и он стал просить дать ему воздуха, бестолковая сиделка,

вместо того чтобы послать за доктором и дать кислорода, укутала его в шубу и прокатила вокруг Таврического сада. К вечеру у него поднялась температура, и началось двухстороннее воспаление легких, и спасти его было уже нельзя. Все это произошло от недосмотра и неосторожности, предвидеть которую ни врач, ни близкие люди не могли... На четвертый день после этого путешествия по морозу надежды на его выздоровление не осталось никакой. С утра рокового дня он еще говорил, не теряя сознания, но страшно ослабел. Катастрофа наступила 20 февраля в 12 час. ночи. Необычайные явления сопровождали минуты его смерти, но о них я умолчу, т. к. они могут показаться выдумкой. В день смерти мой муж навещал его много раз. Последний раз, без 5 мин. 12 часов, прибежала Варя сказать, что «дяде худо». Муж захватил шприц, чтобы сделать ему впрыскивание камфоры, как он это делал несколько раз в этот день, но уже не застал его в живых. Усталое больное сердце перестало работать. Муж мой ушел распорядиться дать знать о его кончине сыну, а я осталась посидеть с покойным. Он умер тихо,

без страданий, лицо было спокойное, бледное, какое всегда было во время сердечных припадков, только глаза остались неподвижные, широко открытые. С горькими слезами я закрыла эти прекрасные глаза, которые умели так глубоко проникать в тайники человеческой души; я перекрестила покойного, помолилась как умела и могла за упокой его души. Поплакали мы вместе с Варей, ни родных. Горько сожалея о потере незаменимого друга, которому я была так много обязана за его расположение ко мне, я думала, что все же он умер на руках чужих людей, хотя искренно его любивших. Мог ли он сам предполагать когда-нибудь, что мать незнакомых ему четыре года тому назад резвых мальчиков, случайно встреченных им на морском берегу, закроет ему глаза и благословит его на вечную жизнь. Так и раздавался в ушах его голос: «Варя, завари нам чайку, Екатерина Иринеевна пришла, и принеси нам в кабинет». При этом он открывал ящик своего комода и подавал мне душистое яблоко, запас которых у него никогда не переводился, т. к. это был его любимый фрукт.

В четвертом часу ночи приехал его сын с женой, и я могла уйти домой.

По его завещанию похороны были самые скромные: ничего, кроме простого деревянного желтого гроба: ни венков, ни речей... Похоронили его на Волковом кладбище на Литературных мостках. Вокруг открытой могилы собралась только группа искренно оплакивающих его людей. Протекинский распорядился похоронами и весь красный от слез бегал от одного к другому. Особенно был опечален его смертью Вл. Соловьев.

Еще пришли на похороны его добрые дела, которые он творил так, что правая рука не знала, что делает левая, какие-то старики, старушки и бедные женщины с детьми.

Для меня лично потеря его была незаменимой утратой. За последние четыре года постоянного общения человек этот дал мне так много отрадных минут, так щедро поделился со мной богатством своего духовного «я». С его кончиной что-то большое и светлое ушло из моей жизни, никем и ничем не заменимое.

Вернувшись с похорон, я долго и неутешно рыдала, сознавая всю громадность своего го-

ря, так что моя приятельница, которая зашла к нам, чтобы расспросить о его болезни, смерти и похоронах, при виде моих слез с чувством сказала мне: «Знаете, Е. И., я считала бы себя счастливой, если б обо мне поплакал так искренне горько не только чужой, а даже самый близкий человек». «Да, поистине человек он был в самом лучшем и благороднейшем смысле этого слова», — сказала я ей в ответ.

ЛЕЙКИН Н. А.[13]

Письмо Н. С. Лескова Н. А. Лейкину от 3.XI.87 г.:

«Уважаемый Николай Александрович! Сердечно благодарю Вас и супругу Вашу за то, что Вы вспомнили обо мне, собирая к себе друзей, по поводу Вашего новоселья и десятилетия Вашего брачного соединения. По болезни моей, не позволяющей мне никаких отступлений от принятого скучного, но необходимого режима, я не могу быть на Вашем празднике, но прощу Вас и Прасковью Никифоровну принять от меня поздравления с тем, что Вы достигли благополучия жизни в собственном доме. Пусть и вперед Вас радует и утешает Ваше домашнее благополучие. Преданный Вам Н. Лесков».

Дневник Н. А. Лейкина хранится в ЦГАЛИ (ф. 289, оп. 3, ед. хр. 2).]

ИЗ ДНЕВНИКА

1895, 23 февраля

На похоронах Н. С. Лескова. Утром к 11 ч. я и жена прибыли к дому № 50 на Фурштадтской улице, откуда должно было быть выне-

сено тело Лескова. Нам тотчас же сообщили, что панихида уже началась и что в квартиру войти нельзя, до того она переполнена приехавшими отдать поклонение телу покойного. У ворот стояла также толпа народа. Я вышел из саней и встретился с М. М. Стасюлевичем и Ан. Ф. Кони. Они стояли на тротуаре и разговаривали. Мы поздоровались. Дальше стояла еще группа писателей. Тут были С. Н. Терпигорев, только что оправившийся от болезни, Д. С. Мережковский, С. Н. Шубинский, В. А. Тихонов. Поодаль прохаживался В. П. Буренин. Вскоре приехал издатель «Нивы» Маркс и тоже остановился на тротуаре. Тело вынесли в 11 1/2 ч., и гроб, окрашенный под дуб желтой масляной краской, поставили на дроги, запряженные парой лошадей. Невзирая на завещание покойного, [14] все-таки была некоторая pompa в похоронах: пел хор полковых певчих, хотя и не в кафтанах, и перед дрогами шли шесть человек с фонарями, и когда шествие тронулось, то появились и два конных жандарма. Из актеров я заметил на выносе только Н. Ф. Сазонова. Он шел за гробом вместе с женой своей — писательницей С. И.

Смирновой. В частности, она записывала в 1895:

«Февраль, 22. Ездила на панихиду к Лескову. Панихиды не застала, поклонилась только его телу. Несмотря на завещание, чтобы никаких церемоний над его гробом не было и чтобы после вскрытия сам гроб был закрыт, он лежит убранный зеленью, в ногах у него венки, комната уставлена пальмами. Около покойника толкуются какие-то дамы, есть один военный и молодой человек в студенческой форме, может быть, сын его. Но лиц печальных, огорченных не видно совсем... Народу мало, у ворот ни одного извозчика. Несмотря на свой большой талант, для толпы он не был кумиром.

Февраль, 23. Была на выносе, у Лескова. По его завещанию, о дне похорон не было объявлено, поэтому набрались только те, кто получил личное приглашение, очень небольшой кружок. Среди металлических венков один из живых роз от сына и невестки. На венке „Петербургской газеты“ было сначала написано Лесникову, потом две буквы стерли, осталось пустое место. Какая-то старушка, повязанная

платком, положила перед гробом земной поклон. Но в публике за панихидой никто даже и не крестился. Певчими были все детишки в солдатской форме... Одно только тиканье маятников стенных часов напоминало мне прежний кабинет Лескова. Бывало войдешь и прежде всего слышишь среди тишины звук нескольких маятников... Простой деревянный гроб поставили на просторные парные дроги, по последнему разряду, покрытые золотым покровом, прикрепили венки и повезли на Волково кладбище. По дороге провожатые стали исчезать. Первым ушел Шубинский, за ним Шершевский, потом мы с Н. Каждый провожает покойника до той улицы, на которой сам живет. Литераторов было маловато, зато были Кони и Маркс. Я шла по Литейной с Бурениным, который в своих фельетонах очень зло и несправедливо нападал на покойника, но за гробом все-таки шел». Процессия двинулась по направлению к Литейной. Тело везли более дальним путем: по Литейной и по Владимирской, тогда как был путь более близкий на Волково кладбище — по Лиговке. Я и жена проводили тело до Ли-

тейной и поехали прямо на кладбище, дабы встретить процессию на месте. Там мы уже встретили довольно много ожидающих тело. Побывав на могиле отца, матери и дядей, погребенных на том же кладбище, я встретился с писателями С. В. Максимовым, К. С. Баранцевичем, В. И. Немировичем-Данченко, Д. Л. Мордовцевым, П. В. Быковым, К. К. Случевским и др. Из актеров стояли А. А. Нильский и Е. И. Левкиева. Только около часа дня прибыло тело и было внесено в церковь. Отпевали Лескова в старой церкви, гроб во время отпевания, согласно его воли, в церкви не открывали, так что и венчик и разрешительную молитву пришлось прикрепить гвоздем к крышке гроба. В церкви я заметил Вл. С. Соловьева. Он приехал к самому отпеванию. Похоронили Лескова на Литературных мостках, недалеко от Белинского. Речей на могиле произнесено не было никаких. К самому опусканию тела в могилу какой-то профессор привез венок от журнала «Русская мысль» из Москвы. Здесь у могилы увидал я и второго брата Соловьева, Всеволода, а также В. О. Михневича, М. И. Пыляева. Я умышленно поименовываю всех из

пишущей братии, кто был на похоронах, чтобы показать, как много кого не было. Редакторы газет и журналов, за исключением М. М. Стасюлевича, все отсутствовали. Была жена Суворина с дочерью, а самого Суворина не было, а он у него в газете много писал и в доме был когда-то своим человеком. Не были и молодые писатели на похоронах. Это замечательная их черта, что они как-то игнорируют похороны литературных деятелей. Не были, например, А. Н. Маслов (Бежецкий), Сыромятников (Сигма), А. Будищев, В. Шуф, а они были здоровы. Вечером я их встретил в Литературно-художественном кружке. Не были и женщины-писательницы.

Погода была прелестная, солнечная, на солнце таяло, и на ветках голых прутьев кладбищенских кустарников весело чирикали воробьи.

24 февраля

Прекрасный солнечный день. На солнце тает, а в тени 5–6° мороза. Утром развернул газеты и прочел описание похорон Лескова. Покуда никакой о нем оценки, как о писате-

ле. Неужели так никто и не скажет ничего? Похоронили его сухо, я ожидал, что к похоронам его отнесутся теплее. Его судьба такая, что ли. При жизни ему не устроили и юбилея. Говорят, он отказывался. Но и Григорович отказывался, а как праздновали его юбилей! Поражает меня также, что на похоронах Лескова не были его сослуживцы по Мин[истерству] народного просвещения Л. Н. Майков и Н. Н. Страхов. Я спрашивал Случевского об их здоровье. Они были здоровы. Не был и брат Майкова, вице-президент Академии, не был поэт Голенищев-Кутузов, не был Поздняк, так отчетливо именующий себя беллетристом на обедах беллетристов, не были и писатели князь Волконский и князь Голицын (Муравлин).[15]

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ[16]

«Вслед за известием о неожиданной кончине Николая Семеновича Лескова в ночь с 20-го по 21-е февраля опубликовано было содержание его завещания, в котором он между прочим просит не хвалить и не порицать его. „Я знаю, — пишет он, — что во мне было очень много дурного и что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать меня, тот должен знать, что я и сам себя порицал“. Исполнить это желание буквально, когда дело идет о таком значительном человеке, — невозможно. Сообразуясь более с духом, нежели с буквою этого завещания, я позволю себе только передать в нескольких словах свое впечатление от личности и произведений покойного. Николай Семенович поражал прежде всего страстностью своей натуры; в преклонных уже годах он при внешнем бездействии сохранял постоянно кипение душевной жизни. Требовались с его стороны немалая умственная сила, что-

бы сдерживать эту страстность в должных пределах. И в произведениях Лескова чувствуется страстное беспокойное отношение к изображаемым предметам, которое при таланте менее крупном перешло бы в явную тенденцию; у Лескова же как сильного художника оно ослаблено, переведено в скрытое состояние, хотя некоторая тенденциозность в ту или другую сторону остается все-таки и в его произведениях.

Наблюдательный и острый ум заставлял Лескова подмечать преимущественно дурную подкладку лиц и дел человеческих, но глубокое требование нравственного совершенства побуждало его к созданию идеальных типов, которые, как, например, его „Соборяне“, производят на многих читателей наилучшее впечатление.

Ставши под конец последователем нравственной доктрины Льва Толстого, Н. С. сделал искренние усилия, чтобы подчинить свою кипучую натуру строгим правилам воздержания и бесстрастия.

Сочинения Лескова, вероятно, вызовут серьезную и обстоятельную критику, и, вопре-

ки его завещанию, умершего писателя будут много хвалить и много порицать; но все сойдется, конечно, в признании за ним яркого и в высшей степени своеобразного таланта, которого он не зарывал в землю, а также — живого стремления к правде».

Примечания

Ахматова Елизавета Николаевна
(1820–1904) — писательница, переводчица, издатель «Собрания переводных романов, повестей и рассказов» (1856–1885), где было опубликовано более трехсот книг Л. Буссенара, В. Гюго, Г. Эмара, Л. Габорио и других авторов. Знакомство ее с Н. С. Лесковым продолжалось одиннадцать лет, с 1881 по 1892 гг.

[^^^]

В «Историческом вестнике», 1885, т. 20, кн. 4, Н. С. Лесков напечатал «заметку по поводу статьи г. Скабичевского об изданиях Е. Н. Ахматовой» «Как заступаться за литературных дам», которая приводится целиком.

Рецензент газеты «Новости», г. Скабичевский, на днях отозвался об издаваемых г-жою Ахматовой романах, как о «дрянных и пакостных». «Новости» это напечатали.

Г-жа Ахматова 16 марта отвечала на это в «Новом Времени» заметкою, в которой говорит, что переведенные и изданные ею романы нет оснований именовать ни «дрянными», ни «пакостными». Письмо г-жи Ахматовой оканчивается словами, что отзыв о «дрянности» и «пакостности» «не только несправедлив, но и неприличен и для того, кто написал его, и для того, кто поместил». Но, кроме того, в самом начале письма г-жи Ахматовой есть горькое слово, направленное по адресу литераторов, — это слово есть как бы укор литераторам, из среды ко-

торых 2-жа Ахматова не надеется встретить никакой защиты против неучтливового с нею обращения. «Я не смею надеяться, — говорит она, — чтобы в нашей журналистике раздался чей-нибудь беспристрастный голос в мою защиту».

Пререкание это заслуживает внимания.

Не подлежит ни малейшему сомнению, что слова, примененные г. Скабичевским к издательской деятельности 2-жи Ахматовой, весьма грубы и неучтивы. Эта почтенная женщина, более тридцати лет продолжающая свою литературную деятельность, не издала ничего такого, что стоило бы назвать в печати «пакостным». Кроме того, это слово само по себе гадко и непристойно, и оно становится еще предосудительнее, когда его употребляет мужчина о женщине, притом еще о женщине таких лет, которых достигла 2-жа Ахматова. Пол и известные годы всякого порядочного и мало-мальски воспитанного человека обязывают к усиленному учтивству и к сдержанности в выражениях. А тех

людей, которые такого обязательства не признают и ему не подчиняются, в образованных странах считают невоспитанными и называют невеждами.

Г-жа Ахматова не ошибется, если поверит, что в литературе многими так и была принята неучтивая выходка, которую она оскорбилась. Но что касается «голоса защиты», то, может быть, есть уважительная в своем роде причина, по которой ни один голос не возвысился в защиту г-жи Ахматовой... Я напомним по этому случаю один очень схожий и характерный пример. Несколько лет тому назад один «поэт», писавший под псевдонимом в одном из изданий покойного Г. Е. Благосветлова, напечатал очень грубую статью о трех русских писательницах, назвав их всех зауряд «литературными приживалками и содержанками». Чтобы обида чувствовалась еще больше, автор так и озаглавил свою статью: «О литературных приживалках и содержанках...» Тогда в журнале «Литературная Библиотека», которую издавал Ю. М. Богушевич,

некто заметил благосветловскому поэту, что тон, принятый им в отношении трех названных литературных дам, — в высшей степени непристойен и оскорбителен для самой литературы. Но в ответ на это, в следующей же книге благосветловского журнала, поэт ответил буквально следующее: «г-н такой-то разыгрывает из себя рыцаря: он вступает за литературных дам, забывая, что в литературе нет пола: как сам г. такой-то есть публичный мужчина, так и защищаемые им дамы — публичные женщины».

Это было напечатано *en toutes lettres* и, кажется, может служить хорошим предостережением, чтобы с известного рода неучтивыми людьми не вступать в состязание тем орудием, внушения которого для них не только слабы, но даже как бы поощрительны. На таких людей могут оказывать надлежащее воздействие только более энергические и сильные меры, каких, впрочем, нет в руках престарелой женщины, отдавшей недавно безвременной могиле единственную опору своей старости.

[^^^]

Вас<ильевский> остр<ов> от Сергиевской — Е.
А.

[^^^]

23 января 1888 г. Е. Н. Ахматова написала Лескову письмо, в котором одобрительно отозвалась о нескольких его произведениях, в том числе фельетоне «Пресыщение знатностью» и рассказе «Человек на часах»

[^^^]

5

Варнеке Борис Васильевич (1874–1944) — профессор, филолог, историк русского театра.

[^^^]

Авсеенко Василий Григорьевич (1842–1913) — писатель, журналист, издатель газеты «Петербургские ведомости» (1883–1896), где часто выступал Н. С. Лесков

[^^^]

Филипшов Тертый Иванович (1825–1899) — публицист и общественный деятель, с 1889 г. занимавший официальную должность государственного контролера. В своей книге А. Н. Лесков приводит характерную эпиграмму на Т. И. Филипшова, которую написал отец:

*Хоть у гроба у господня
Он зовется эпитроп,
Но для нас он мерзкий сводня,
Льстец презренный и холоп.*

[^^^]

Келлер Готфрид (1819–1890) — классик швейцарской литературы.

[^^^]

Борхсениус Екатерина — жена доктора Борхсениуса Н. Ф., лечившего Н. С. Лескова последние два года его жизни.

[^^^]

В. П. Буренин (1841–1926) — журналист, литературный критик

[^^^]

Веселитская Лидия Ивановна (писала под псевдонимом В. Микулич (1857–1936) — писательница

[^^^]

Портрет Н. С. Лескова В. А. Серов писал в марте 1894 и выставил его 17 февраля 1895 на XXIII передвижной выставке. В. В. Стасов в одном из писем Серову писал: «На днях я был у Н. С. Лескова, и он мне показал фотографию с его портрета, написанного Вами. Я был поражен — до того тут натуры и правды много — глаза просто смотрят как живые».

[^^^]

Лейкин Николай Александрович
(1841–1906) — писатель, журналист.

[^^^]

В «Моей посмертной просьбе»: «погребсти тело мое самым скромным и дешевым порядком при посредстве „Бюро погребальных процессий“, по самому низшему, последнему разряду. Ни о каких нарочитых церемониях и собраниях у бездыханного трупа моего не возвещать... На похоронах моих прошу никаких речей не говорить...»

[^^^]

В связи с кончиной Н. С. Лескова представляется очень характерной заметка газеты «Новое время» (23.II/7.III.1895, № 6820) о заседании Петербургской городской думы, до сих пор не попадавшая, кажется, в поле зрения исследователей, но довольно красноречиво говорящая и об отношении к писателям вообще и к Лескову в частности. Газета писала: «В начале сегодняшнего заседания гласным Яковлевым было предложено почтить память Н. С. Лескова вставанием. В ответ на это предложение городской голова сообщил собранию о смерти гласного Кабанова, причем кратко очертил его деятельность в качестве гласного Думы и городского деятеля. Может быть, в глазах городского головы смерть этого гласного, занимавшего разные городские должности, представляет собой незаменимую потерю для Думы. Может быть, это и в самом деле так, но из этого еще не следует ставить утрату общепризнанного и всем известного таланта наряду со смертью лица, бывшего гласным, хотя бы эта должность была почетнейшей из почет-

ных. Н. С. Лесков и умерший гласный были почтены одним общим вставанием. Это можно было сделать отдельно для каждого, но, вероятно, Думе дорого время, так как ей нужно ровно час для самых водянисто-бесцветных разглагольствований, чтобы только договориться до необходимости отложить вопрос о городском ломбарде до следующего заседания. Но все-таки мы смеем думать, что некоторый такт и самое примитивное понимание значения и пользы деятельности покойного писателя необходимо должны были заставить разделить эти два чествования, а не комкать и на скорую руку и вместе».

[^^^]

1853–1900, великий русский философ

[^^^]